# Свояки

# Василь Быков

— Нет! — сказала она, стукнув об пол ухватом. — Нет! И не думайте! Вы что, с ума сошли?

Сидя подле стола, они переглянулись. Старший, высокий, худой, по-юношески нескладный Алесь, сразу нахмурился, уходя в себя, на совсем еще мальчишеском, пухловатом лице пятнадцатилетнего Семки мелькнуло что-то упрямое и злое.

— Все равно уйдем!

— Попробуйте! Попробуйте, ироды! Ишь что надумали! Сопляки несчастные! Я вам покажу партизанов!

Это была угроза, но в ней чувствовалась не столько сила и уверенность, сколько ее материнская беспомощность, от которой она всхлипнула и с ухватом подскочила к парням. Они бы должны разбежаться, как делали это не раз прежде, но теперь даже не сдвинулись с места, и это вовсе озлило ее. Семка лишь вскинул нехотя руку, чтоб защититься, она ударила его несколько раз, не разбирая куда, потом один раз — Алеся. Старший принял ее удар с каменным безразличием на угрюмом худом лице, даже не вздрогнул, только плотнее сжал губы, и она поняла, что все это напрасно. Напрасен весь ее гнев, ее брань, ее запальчивая попытка вернуть уходящую власть над сынами. Отчаяние враз сломило ее, и, бросив ухват, она вышла в сени.

Несколько мучительных минут она корчилась на сундуке от бессильно-исступленной обиды, не в состоянии постичь непостижимое: почему они такие упрямые в этом гибельном своем безрассудстве? Она понимала, когда на это решались взрослые — окруженцы и свои мужики, но что там могло привлечь их, почти что детей, едва оперившихся в жизни подростков? Что они сделают там, в лесу? Разве только погибнут по-глупому, как погиб тот, что неделю назад все утро лежал на выгоне, такой молоденький, пригожий хлопчик в окровавленной военной рубашке. Так и они будут лежать где-то, и на них будут боязливо глядеть незнакомые люди, и пьяные полицаи будут пинать их подкованными сапогами, а по босым ногам их будут осатанело бегать жадные весенние мухи...

Нет, так не будет, хватит того, что без поры, без времени сложил голову отец, а у них еще, слава богу, есть мать, она не допустит этого, она ни перед чем не остановится. Она знает, кто подбил их на это гибельное дело, она найдет его и не оставит ни одного волоска в его фасонистом белом чубе.

С внезапно возникшей решимостью она подхватилась с сундука, выбежала во двор, но вернулась, метнулась по сеням в поисках подпорки и, не найдя ничего более подходящего, сорвала с крюка коромысло. Охваченная мстительным злорадством, она туго подперла коромыслом дверь в избу и бросилась на улицу, поправляя на ходу косынку и не утирая слез, которые все еще лились по ее щекам.

Она бежала по улице, распугивая кур у плетней, взбивая босыми ногами пыль, и голову ее распирало от множества гневных слов, преисполненных ее, материнской обиды. Она скажет этому Яхиму, что он душегуб, бессердечный ирод, она спросит, зачем ему эти зеленые мальчуганы. Если надумал, пусть себе и идет сам куда ему хочется — хоть в партизаны или в полицию, но только без них. Пусть он сейчас же объявит им, что никого с собой не возьмет, иначе она обломает об его голову все ухваты, оскандалит его на всю округу.

В сердцах она сильно толкнула дверь старенькой, покосившейся избушки, не закрывая ее, рванула за клямку вторую — на нее сразу пахнуло прохладой земляного пола и тишиной. Тогда она дернула занавеску на печи, с вороха грязного тряпья приподнялась белая голова старого, больного Лукаша, его подслеповатые, выцветшие глаза болезненно заморгали в недоумении.

— Где Яхим ваш?

— Якимка-то? А кто ж его знает. Разве теперича дети спрашиваются у родителей?..

— А ночью он спал дома?

— Не знаю я. Будто не слыхать было.

Конечно, что он мог знать, этот полуослепший, забытый богом старик, наверно, Яхима не так просто поймать. Она почувствовала, что весь запал ее гнева вот-вот иссякнет впустую, и опять не сдержалась. Правда, слез уже не было, были только удушливые спазмы в груди, и, пока она, прислонясь к печи, боролась с ними, Лукаш устало глядел на нее и постанывал, донимаемый своими болями.

Но нет, все равно она их не отдаст, они — ее дети, она для них мать и не согласится на их гибель, скорее сама ляжет трупом на этом их сумасбродном пути, но не пустит их к смерти.

Она почти все время бежала — через деревню, мимо с детства знакомых избенок, потом по выгону с молодой весенней травой, усеянной желтыми цветами одуванчиков, вдоль свежо и весело зазеленевшего нежными листиками овражка. Как за последнюю свою возможность, она ухватилась теперь за мысль обратиться к Дрозду, что жил в недалеком, через поле, местечке. Правда, с зимы он ходил в полицаях, был начальственно важен и строг, но она знала его мать и его с самого детства, все же он был ей двоюродный племянник — не чужой. Она расскажет ему о своем горе, и он должен чем-либо пособить, ведь мужчина неглупый и, главное, по нынешнему времени власть. Пусть он их постращает, посадит на какую недельку в подвал, пусть даже недолго подержит в тюрьме, но чтоб только не ушли в лес и не иссиротили ее.

Она лишь боялась, как бы Дрозд не уехал куда, не был занят, не отказал и тем не лишил ее последней возможности удержать их. Но солнце было уже низко, медленно садилось вдали за широкую багровую тучу над лесом, — в такое время, знала она, служащие в местечке расходились из учреждений и занимались своим хозяйством. Правда, она пожалела, что ничего не захватила с собой, надо бы прийти хоть с каким-либо гостинцем да с бутылкой, конечно. Но за ней не пропадет, пусть только поможет.

Да, он был дома, она сразу поняла это, как только свернула с улицы в узенький, обсаженный вишняком проулок к его добротной пятистенной избе. Из двух настежь раскрытых окон неслась громкая музыка, и за цветочными горшками на подоконнике двигалось чье-то мужское с погоном плечо.

Она еще раз поправила на голове платок, корявыми, жесткими от непроходящих мозолей руками вытерла глаза и как можно тише взошла на крыльцо. Дверь в избу была раскрыта. Он, сидя на табурете, сразу повернул к ней крупное бритое лицо, на котором мелькнуло удивление.

— Что тебе, тетка?

То, что он назвал ее привычно, по-деревенски теткой, придало ей смелости, под его уже строгим, будто даже сердитым взглядом она ступила на рогожку у порога и промолвила:

— Пришла к тебе, Петрович, по делу.

Патефон на конце стола смолк, кто-то повернул в нем блестящий рычаг, и несколько мужских лиц с настороженным неудовольствием уставились на нее. Она смешалась под этими взглядами и не знала, как тут объяснить свою такую, казалось, простую и понятную надобность. В сознании ее даже мелькнуло сожаление, что пришла сюда, но какого-либо иного выхода в запасе у нее не было.

— Да я чтоб посоветоваться. Сыны у меня...

— Что сыны? Говори конкретно.

Она мучительно искала слова, чтобы поскорее и попонятнее объяснить им, что ее привело сюда.

— Ну говори, говори. Не бойся, тут все свои.

— Сыны у меня... Нехорошее удумали.

— Что, с бандитами снюхались?

Они все враз будто встрепенулись за столом, а Дрозд двинул в сторону табурет и как был — в нижней голубой майке — тяжело шагнул к ней.

— Ну, говори.

Она, отчетливо сознавая, что должна решиться на самое главное, ради чего готова была на все, взмолилась:

— Петрович, родненький, только прошу, не сделай же им плохого. Ну, может, попугай их, не наказывай только. Молодые же еще, старшему семнадцать на пасху исполнилось. Разве ж они понимают...

— Ага! Так-так. Ну, ясно. Где они теперь?

— Дома. Я ж их заперла.

— Заперла? Молодец, тетка. Идем!

Он решительно натянул на себя свой полицейский мундир, сорвал со стены винтовку. Другие тоже вылезли из-за стола, и в избе сразу стало тесно. Она отступила, внутри у нее что-то дрогнуло и опало, и, пока Дрозд подпоясывался толстым военным ремнем, она, сцепив на груди руки, просила:

— Петрович, сынок, только ж вы по-хорошему...

— Мы по-хорошему. Культурно! Барсук, захвати конец.

Они вышли во двор и, сокращая свой путь к деревне, быстро пустились по меже полем. Солнце уже скрылось за тучей, голые, по-весеннему серые поля потускнели, но было светло и тихо. Здесь, на воле, она лучше рассмотрела их. Кроме Дрозда, еще двое были в немецких мундирах и пилотках, а один, задний, в своем — пиджаке и серых брюках навыпуск. Этот, в гражданском, ей показался знакомым, она, забегая немного вперед, спросила:

— Гляжу это и узнаю будто. Не с Залесья будете?

— С Залесья, матка, — просто ответил он басом, но разговора не поддержал. Она пригляделась к остальным двоим, к их крутым, стриженым затылкам, но эти, очевидно, были чужие.

Они перешли пригорок, край лужка, миновали лозовые заросли у ручья. Возле болотца-выгорища ковырялся с плугом хромой Лущик, из их же деревни. Остановив лошадь, он долго смотрел издали на четырех полицейских и женщину. Она ничего не сказала ему, прошла мимо, но почему-то ей стало не по себе от этой настороженности знакомого человека. Правда, она тут же подавила в себе это неприятное, пугающее чувство. Пусть, пусть постращают, не убьют же, ведь немцам они ничего плохого еще не сделали, за что же наказывать их?

Она все время бежала сзади, в поле и на выгоне, и только когда зашли во двор, у колодца, Дрозд пропустил ее вперед и даже слегка подтолкнул: давай, мол, мы следом. Она проворно и привычно, как всегда, приступив на широкий камень у двери, шагнула через порог и тотчас поняла, что зря понадеялась на подпору: коромысло валялось на полу, и дверь в избу была раскрыта. Однако тут же она увидела Семку, и ее поразила гримаса испуга, почти боли, на его полудетском лице. Нагнувшись и держа в руках большой кухонный нож, сын стоял над дежей, в которой они хранили мясное. У ног парня лежала торбинка с завязками. Увидя эту торбу, она все поняла и коротко, зло про себя усмехнулась. Но в тот же миг Семка вскрикнул, выронил на пол кусок сала и, пригнув голову, бросился в дверь, на бегу сильно толкнув ее в бок. Сзади закричали — Дрозд или другой кто-то, — и тотчас сильно грохнул один, второй, третий выстрелы. В ней все обмякло, она пошатнулась, но сдержала себя и, чувствуя, что происходит нечто нелепое и ненужно страшное, выбежала из сеней.

— Сыночек! Сыночек! Постой!

Она бросилась к полицаю в серой немецкой пилотке, который стоял с карабином у плетня, но он уже не стрелял — опустил карабин прикладом к ноге, выругался, грубо отстранил ее и полез через перекладину в лазу на огород. Она не понимала его, как не понимала ничего, что здесь происходило. Семки нигде не было, и только когда полицай широко зашагал наискось по вспаханному огороду, она увидела запрокинутую голову сына, плечи и разбросанные в стороны руки: он недвижимо лежал на пахоте в трех шагах от буйно белевшего первым цветом вишенника.

Тогда она закричала и рухнула на пахнущий навозом двор, сознание огромной несправедливости сразило ее: как же могло случиться такое? Она билась головой о твердую, как бетон, утоптанную землю двора, колотила ее своими не по-женски большими кулаками, царапала, зайдясь, вся в безумном исступлении от такой непоправимой, дикой нелепости. Из этого состояния ее вырвал голос — знакомый и в то же время совершенно изменившийся голос ее старшего сына:

— Холуи продажные!

Все еще не поднимаясь с земли, она вскинула голову и сквозь слезы увидела, как. Дрозд и двое других полицаев вытолкали его из сеней и начали грубо крутить за спину руки, связывая их веревкой — концом, прихваченным у Дрозда.

— Бобики! Будет и на вас веревка!

— Молчать, щенок!

Полицай, что в брюках навыпуск, коротко и сильно двинул его коленом в живот. Алесь пошатнулся, но устоял, и она, совершенно уже теряя над собой власть, вскричала:

— Сыночек!

Но он даже не взглянул в ее сторону, лицо его было исполнено гнева и твердости, он вскинул ногу в ботинке и ударил ею полицая.

— Смерть Гитлеру!

— Ах так, щенок!

Дрозд сильно толкнул его прикладом, и он неуклюже, со связанными руками, упал спиной на камень у порога. Она бросилась к Дрозду и, хватая его за ноги в пыльных, вонючих сапогах, пыталась остановить, не дать бить сына. Но эти ноги ударили и отбросили ее саму, она перевернулась, захлебываясь от боли в груди.

— Ах так, щенок! — сказал Дрозд. — К стенке его!

Те двое сильно рванули сына за связанные руки, размашисто отбросили к истрескавшимся бревнам стены, и Дрозд вскинул свой карабин. Она снова подхватилась с места и на этот раз метнулась к сыну, но над головой ее грохнуло, оглушило. Алесь неестественно напрягся, губа его с едва заметным светлым пушком раза два дернулась, и голова беспомощно упала на грудь. Он сполз спиной по стене и в неестественной, скрюченной позе застыл над завалинкой. Тогда она поняла, как непростительно глупо казнила их и себя тоже, схватила у порога первое, что ей попало на глаза, — хворостину, которой выгоняла по утрам корову, и с небывалым ожесточением набросилась на Дрозда.

— Что ты наделал! Ирод! Выродок!

Она метила ею по голове и лицу полицая, но тот вобрал голову в плечи, заслонился локтем, и она била по ненавистному, с полосатой повязкой локтю, по пилотке, пока Дрозд окованным тяжелым прикладом не отбросил ее к тыну.

— Прочь, гадовка!

Оглушенная, она зашлась от боли и смолкла. Полицай приволок с огорода распластанное тело Семки, бросил его на дворе, задыхаясь, откашлялся и полез в карман за махоркой.

— А здорово ты его — под дых! — одобрительно сказал Дрозд.

Полицейский зло матерно выругался.

— А что ж, туды т его враз! Не знал, от кого! У меня не утикеть.

Возбужденно ругаясь, они начали закуривать. Она корчилась под тыном, оглушенная, все видела, но почти уже ничего не замечала и ни на что не реагировала. Потом, когда несколько унялся болезненный гул в голове, поднялась сначала на колени, затем на свои босые, затекшие ноги, окинула полубезумным взглядом двор с недвижимыми телами ее сыновей. У нее уже очень немного осталось сил, она держалась за тын и, перебирая руками, обессиленно пошла к улице. Ее не останавливали и не кричали, да она и не прислушивалась уже ни к чему в этом свете, страх ее иссяк весь без остатка. Добредя до колодца, она бессильно упала животом на край ослизлого сруба и, увидев в его глубине далекий просвет, как за несбывшейся справедливостью, торопливо ринулась в темный, зыбкий проем.

*1967 г.*